

Литрес ≡ Классика

Михаил Булгаков

ЗАПИСКИ НА
МАНЖЕТАХ



Михаил Булгаков
Записки на манжетах

Булгаков М. А.

Записки на манжетах / М. А. Булгаков — «ЛитРес»,

«Записки на манжетах» – частично автобиографическая повесть Михаила Булгакова. Главный герой, начинающий писатель, в разгар Гражданской войны и первых послереволюционных лет пытается найти своё место в литературе. Действие охватывает его скитания по Кавказу, работу в подотделе искусств и отчаянные попытки заработать на жизнь в голодной Москве. Повесть с горькой иронией показывает столкновение творческого человека с абсурдом бюрократии и суровой реальностью.

© Булгаков М. А.

© ЛитРес

Содержание

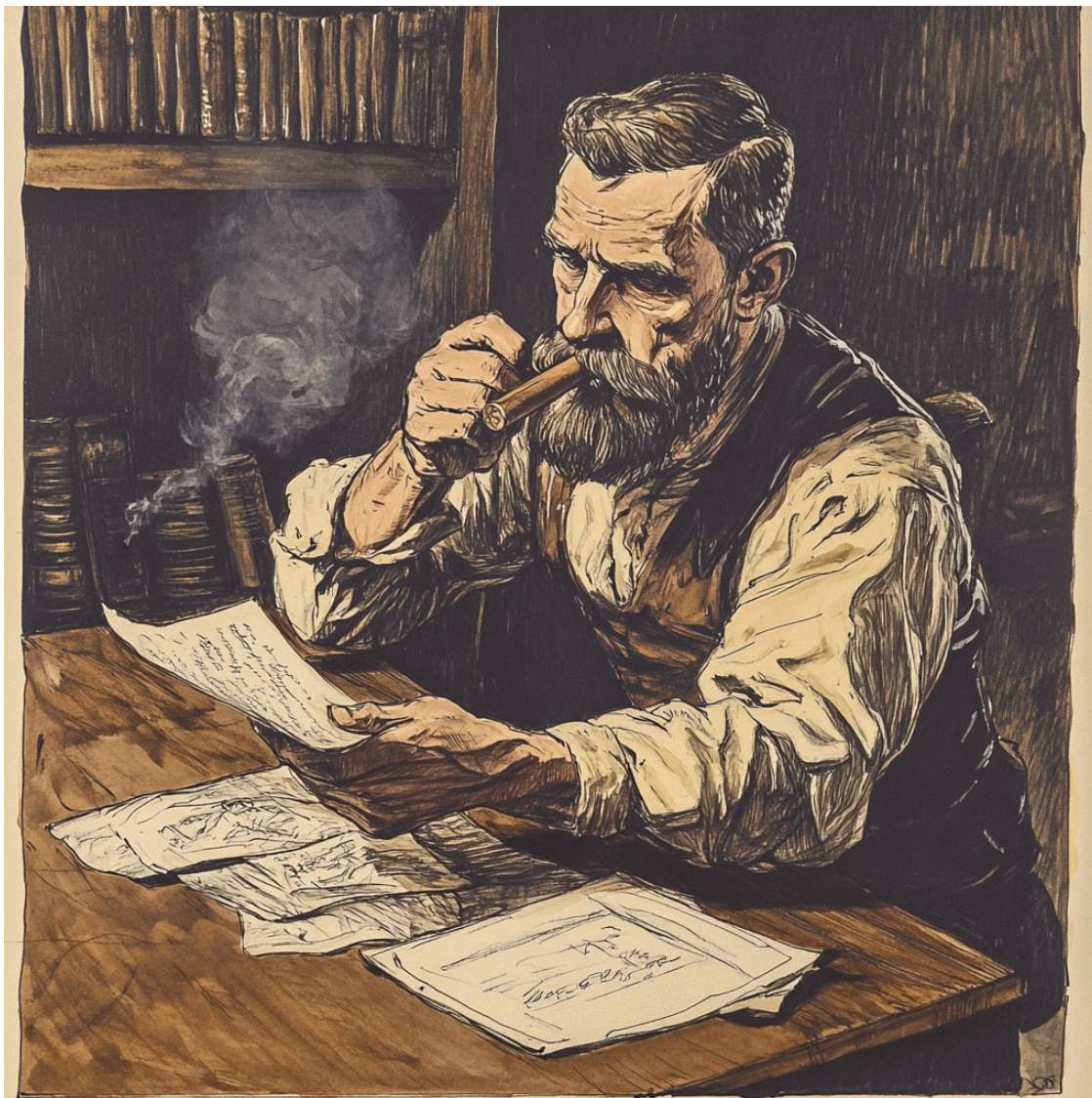
Часть первая	6
I	6
II	9
III	11
IV	12
V	13
VI	15
VII	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Михаил Афанасьевич Булгаков
Записки на манжетах

ЛитРес
библиотека

© «Литрес», 2026

Часть первая



I

Сотрудник покойного «Русского слова», в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой: «Фью-ю!»

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертил:

До Тифлиса сорок миль...
Кто продаст автомобиль?

Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».
И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингель:

– Тэкс. Тэкс!.. Я так и знал!.. Возможно, что придется отчалить. Ну что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. Credito italiano. Что? Шесть... И, в сущности, я итальянский офицер! Да-с. Finita la comedia!

И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь, с телеграммой и фельетоном.

– Стойте! – завопил я, опомнившись. – Стойте! Какое Credito? Finita?! Что? Катастрофа?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня мучит? Credito непонятное? Сутолка? Нет, не то... Ах да. Голова. Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту – наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть... Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

– Мишуня, поставьте термометр!

– Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...

Боже мой, Боже мой, Бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

– Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман...

– Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..

– Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?

– С ума сошли!..

Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего – еду! Еду! Не надо распускаться. Пустяшная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полоч. Вмиг полегчало бы... А потом – голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово – по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

Избранной воеводе победительная!..

Ах нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?..

– Ларисса Леонтьевна, где мо-наш-ки?!

– ...Бредит... бредит, бедный!..

– Ничего подобного. И не думаю бредить. Монашки! Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон, с третьей полки. Мельников-Печерский...

– Мишуня, нельзя читать!..

– Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!

– Ну, хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

Сашки, канашки мои!..

– Ларисса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я дол-жен был быть у него... Пой-мите!

– Понимаю, понимаю, молчите!

* * *

Туман. Жаркий красноватый туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься – и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть – вовсе не хвоя, а простыня.

– Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?... Пи-ить!

– Сейчас, сейчас!..

– А-ах, теплая, дрянная!

– ...ужасно. Опять сорок и пять!

– ...пузырь со льдом...

– Доктор! Я требую... Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг! Ла-рочк-а-а! Достаньте!..

– Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Го-ло-ва!..

Просвет... тьма. Просв... нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все – все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна.

.....

II

Что мы будем делать?!

Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твенем мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызанный, и под мышкой – дыра. На ногах – серые обмотки. Одна – длинная, другая – короткая. Во рту – двухкопеечная трубка. В глазах – страх с тоской в чехарду играют.

– Что же те-перь бу-дет с на-ми? – спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

– Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

– Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

– Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.

Нервно отозвались флаконы за стеной.

– Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно!

– Ка-кая разница?

– Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши когда грабят, то... они грабят. А осетины – грабят и убивают...

– Всех будут убивать? – деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.

– Ах, боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вообще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

– Я не вол-нуюсь...

– Пустяки, – сухо отрезал Слезкин, – пустяки!

– Что? Пустяки?

– Да это... Осетины там и другое. Вздор, – он выпустил клуб дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

Мама! Мама! Что мы будем делать!

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.

– Подотдел искусств откроем!

– Это... что такое?

– Что?

– Да вот... подудел?

– Ах нет. Под-от-дел!

– Под?

– Угу!

– Почему под?

– А это... Видишь ли, – он шевельнулся, – есть отнаробраз, или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!

Взметнулась хозяйка.

– Ради Бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет...

– Вздор! – строго сказал Юра. – Вздор! И все эти мингрельцы, имери... Как их? Просто дураки!

– Ка-кие?

– Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить...

– А что с нами? Бу-дет?

– Пустяки. Мы откроем...

– Искусств?

– Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.

– Не по-ни-маю.

– Мишенька, не разговаривайте! Доктор...

– Потом объясню! Все будет! Я уж заведывал. Нам что? Мы аполитичны. Мы – искусство!

– А жить?

– Деньги за ковер будем бросать!

– За какой ковер?..

– Ах, это у меня в том городишке, где я заведывал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалованье, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо.

Паек.

– А я?

– Ты завлито будешь. Да.

– Какой?

– Мишуня! Я вас прошу!..

III Лампадка

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет: лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.

Мама! Мама!! Что мы будем делать?!

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито – литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..

– О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду...

– Молчите, Мишенька, милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

– Ма-а-ма. Ма-а-ма!

IV

Вот он – подотдел

Солнце. За колесами пролетов пыльные облака... В гулком здании ходят, выходят... В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами; колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами, то на машинках громко стучат, то курят.

Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него и денег требуют.

После возвратного – мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.

– Завподиск. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска режет воду. На кого ни глянет – все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням – ничего! Барышням – страх несвойственен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа – кристалл!

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

– Завлито?

– Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута, и чулки винтом. Стихи принесла.

Та, та, там, там.

В сердце бьется динамо-снаряд.

Та, та, там.

Стишки – ничего. Мы их... того... как это... в концерте прочитаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего барышня. Но почему чулки не подвяжет?

V Камер-юнкер Пушкин

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина, Александра Сергеевича, царствие ему небесное!

Так было дело:

В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках; да, с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году начавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк, в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень...

Это было эффектно!

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами...

Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей?

– Выступайте оппонентом?

– Не хочется!

– У вас нет гражданского мужества.

– Вот как? Хорошо, я выступлю!

И я выступил, чтобы меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

...Ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума...

Говорил он:

Клевету приемли равнодушно.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

– Дожми его! Дожми!

.....
О, пыльные дни! О, душные ночи!..

* * *

И было в лето, от Р. Х. 1920-е, из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскуронт вин. В книжечке – его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что!..

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому что! Он там, идеже несть...

А я пропаду как червяк.....

VI Бронзовый воротник

Что это за проклятый город Тифлис!
Второй приехал! В бронзовом воротничке. В брон-зо-вом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!
В бронзовом, поймите!

VII

Мальчики в коробке

Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать...

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк.

У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечной тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:

M-me Marie. Modes et Robes.

И он скулит в коробке.

Бедный ребенок!

Не ребенок. Мы бедные!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.